

«Прогулки одинокого мечтателя»

1 Это последнее сочинение Жан-Жака. Оно написано в 1776–1778-м годах и тоже, как и «Исповедь» или предшествовавшие «Прогулкам» «Диалоги», осталось без завершения, будучи на сей раз прервано смертью. Хотя приурочено кое в чем к событиям более чем десятилетней давности. Жан-Жак подчеркивает, что «Прогулки» написаны в дополнение к «Исповеди». Но они чрезвычайно отличаются от нее.

Отличий два.

Во-первых, если в «Исповеди» неуклонно нарастало ощущение одиночества не только в благотворном смысле, но параллельно и как отверженности, то в «Прогулках», как придатке «Исповеди», это ощущение достигло горизонта. И переросло в порой непрерывный отчаянный крик. Некая психическая граница перейдена.

Думаю, лишь теперь можно начинать говорить о душевном срыве.

Во-вторых, если «Исповедь» до конца густо заполнена деталями и именами, часто излишними, то «Прогулки» в этом отношении гораздо более скупы. Преобладает крик страдания.

Слушать этот крик поистине нет сил.

Общее же состоит в том, что отличие себя от мира и глубокое погружение в себя, т. е. в индивидуалистическое

самосознание, не отстывает ни на пядь и, благодаря более отвлеченному выявлению, – приобретает не только эмоционально-страдальческий, но и словно бы метафизический смысл.

«Прогулки» с первой фразы начинаются на той же ноте, что и «Исповедь», но двумя октавами выше.

«И вот я один на земле, без брата, без ближнего, без друга, без иного собеседника, кроме самого себя. Самый общительный и любящий среди людей (*Le plus sociable et le plus aimant des humains*) оказался по единодушному согласию изгнанным из их среды. В самой изощренной ненависти они выискали, какое мученье будет жесточе для моей чувствительной души, и грубо порвали все узы, меня с ними связывавшие. Я продолжал бы любить людей против их желания. Только перестав быть людьми, могли бы они отделаться от моих чувств. И вот они мне чужие, незнакомые, никто, наконец, – раз они этого хотели. А я – что такое я сам, оторванный от них и от всего? (*Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même?*) Вот что мне остается еще решить» (с. 571, р. 35).

Это к сведению любителей психиатрического, а не социально-культурного подхода к истории.

Руссо сожалеет, что этому «должен предшествовать краткий обзор моего положения». Но никакого конкретного обзора мы не обнаруживаем до завершения «Первой прогулки» и даже почти до конца текста в целом. Только сплошную риторическую амплификацию тех же размышлений и стенаний. А иногда никаких признаков собственно «прогулок», ни направления их, ни топографии, ни временной последовательности и т. п. Это очень цельная цепочка эссе. Я поэтому, пожалуй, предпочел бы принятому вполне удачному и привычному переводу названия более буквальный: «Раздумья одинокого путника».

Первая «прогулка» похожа на вступление? Но продолжим чтение.

Единственно важное (и, кажется, точное) психологическое наблюдение над собой: «Действительные страдания имеют мало власти надо мной; я легко переношу те, которые испытываю, но не те, которых ожидаю. *Мое испуганное воображение (NB!) приводит их в сочетанья, переворачивает, растягивает и умножает.* Ожидание их терзает меня в сто раз больше, чем их присутствие, и угроза для меня ужасней самого удара» (с. 573). Вот собственный диагноз своей подозрительности и «странных» догадок у Руссо.

И уже знакомое нам рассуждение о том, что на вчерашние впечатления неизбежно накладываются сегодняшние. То есть мы видим «вчера» так, как оно представляется нам ныне. Это прощание с миром.

Все кончено для меня на земле ... Все, что вне меня, отныне чуждо мне ... Одиноким на весь остаток жизни (...) я не должен и не хочу заниматься ничем, кроме себя. В этом состоянии я возобновляю то суровое и искреннее исследование, которое когда-то назвал «Исповедью». Я посвящаю последние дни свои изучению самого себя и заблаговременной подготовке к отчету, который не замедлю дать о себе. Отдадимся же целиком отраде собеседования с собственной душой, раз она – единственное, что люди не могут у меня отнять ... (с. 575).

Руссо любил быть наедине с собой, но мучился *вынужденным* одиночеством.

2 Вот еще один, по мысли не новый для нас, но очень выразительный автокомментарий к «Исповеди».

Я писал свою «Исповедь» уже стариком, прикоснувшись ко всем жизненным наслаждениям, пресытившись ими и глубоко почувствовав их пустоту. Я писал ее по па-

мяти; память часто изменяла мне или возрождала лишь неотчетливые воспоминания, и я восполнял пробелы подробностями, выдуманнными в дополнение к этим воспоминаниям, но которые им не противоречили. Мне нравилось распространяться о счастливых минутах моей жизни, и я украшал их иногда прекрасными чертами, которые подсказывало мне нежное сожаленье. Я передавал предметы позабытые в том виде, в каком, мне казалось, они должны были быть, в каком, может быть, они действительно были, и никогда в обратном тому, в каком я их помнил. Мне, может быть, случалось придавать истине чуждое ей очарование, но никогда не ставил я на ее место ложь ... (т. 2, с. 607–608).

Что ж, мы и ранее не могли не видеть, что «Исповедь», при всей прозрачной и исключительной искренности Руссо, не только мемуары, но и художественное творение, так сказать, плод честного воображения. Теперь сам Руссо говорит об этом отчетливей, чем когда-либо раньше.

Однако я позволю себе добавить, может быть, несколько неожиданное замечание. Как раз в историко-культурном плане, в котором задумана моя книга, вопрос о том, где рассказчик точен, а где он растроганно приукрашивает и обволакивает сентименталистским облаком некий эпизод или где он, напротив, сгущает свои провинности или даже, по собственному выражению, «пускается в побасенки», – словом, мера вымысла при раскрашивании тех или иных событий, – не имеет для нас, учитывая цель работы, никакого значения!

Ведь, напомним в который уже раз, речь идет не об очередной фактически выверенной биографии Руссо. Но только о том, какой он видел и расценивал значимость своего «Я». Иначе говоря, каково было его самосознание, в котором он свободен.

Он, что-то припоминая, додумывал и даже присочинял – притом, как он подчеркивает, не в похвалу себе и не для опорочивания других.

Но он никогда не лгал и не обманывал себя. То есть именно таким себя и видел. Считаю, что с полным основанием.

При тотальной ориентации Руссо на неповторимость «Я» только это для нас и существенно. Вкупе с его безусловной и напряженной, но также индивидуалистической и рефлексивной установкой на правдивость по существу. И с раздумчивыми оговорками, лишь подтверждающими принципиальность этой установки.

Поэтому, какой бы конкретно ни вспоминалась или воображалась Жан-Жаку его жизнь – значит, именно такой она и была или, по крайней мере, таким было его отношение к жизни и к себе. Его индивидуальное самосознание.

Некоторые читатели считают его «трудным человеком». Да ради бога! Еще бы.

В конце концов, едва ли не все люди (и, во всяком случае, выдающиеся) «трудны». Переберите, чтобы припомнить это, имена множества русских сочинителей, от Гоголя до Толстого или Бунина, от Лермонтова до Блока, или Мандельштама, или Есенина, или Маяковского. Только двое из них и только под конец жизни заболели психически. Не знаю, впрочем, позволительно ли говорить такое о мученике Мандельштаме.

Хотя вместе с тем становившийся со временем все более подозрительным, Руссо был по природе существом до наивности доверчивым и доброжелательным. Он сам написал обо всем этом лучше кого бы то ни было.

Может, он был даже скверным человеком? Что ж, Жан-Жак достаточно наслышался и настрадался на сей счет еще при жизни. И это тоже – сюжет для другой работы. Он бесконечно желал быть добродетельным, прекрасным и безупречным человеком. Таким он собственно и был – только далеко не безупречным. Да безупречных и не бывает.

Страдал от этого и считал, что выступить прекрасным и подлинным он вправе, только не скрыв своих слабостей и

ошибок. Вот действительно личность, впервые осознавшая себя таковой. Вот первый дошедший до упора и, следовательно, до мучений совести и ответственности перед самим собой индивидуалист.

Мое собственное сочувствие ему – также лишняя поклажа для данного рассуждения. Мне она понадобилась, если можно так сказать, по лирическим побуждениям, но для обоснования научного замысла работы решительно ни к чему.

Для нашей проблематики существенно только то, что для Руссо вопрос о соотношении в его воспоминаниях правдивости и неизбежной доли вымысла поразительно включен в сквозную индивидуалистическую рефлексю на себя. Теперь это заодно рефлексия сочинителя на свойства своего сочинительства.

З Далее, как может показаться, резкий перепад. И мы, словно сквозь просветы в облаках, узнаем прежнего Руссо.

Во время «Второй прогулки», «в четверг 24 октября 1775 года, после обеда я прошел по бульварам до Зеленой аллеи поднялся по ней на высоты Менильмонтана и оттуда, по тропинкам, бегущим через виноградник и луг, пересекая до самой Шаронны всю разделяющую эти две деревни веселую местность, потом я отклонился в сторону, чтобы вернуться по тем же лугам, но с другой стороны. Проходя по ним, я испытывал чувство удовольствия и интереса, которое всегда вызывает у меня живописная местность; иногда я останавливался, чтобы определить какое-нибудь редкое растение среди зелени».

Ему удалось с радостью найти «*Pieris hieracioides*, из семейства сложных» и «*Vupliurum falcatum*, из семейства зонтичных», а чуть позже еще более редкое, особенно в горах, «*Cerastium aquaticum*».

Жан-Жак отыскал его по ботаническому указателю, как всегда прихваченному с собой и, несмотря на произошедший далее с ним злосчастный случай, когда добрался домой, поместил его в гербарий.

Вопреки некоторым тут же изложенным грустным мыслям, Руссо был очень доволен проведенным днем и возвращался домой.

«За несколько дней перед тем кончился сбор винограда, гуляющих из города уже не было; крестьяне тоже покинули поля до зимних работ. Местность, еще покрытая зеленью и веселая, но уже отчасти растерявшая свой убор и почти пустынная, всюду открывала взгляду зрелище одиночества и приближения зимы. Вид ее рождал смешанное чувство нежности и печали, слишком сходное с моим возрастом и судьбой ... Одиноким и всеми оставленным, я чувствовал приближение зимы ... и мое иссякающее воображение уже не населяло одиночества существами, созданными мне по сердцу» (с. 579) .

4 Одиночество в «Исповеди» и одиночество в «Прогулках», как уже отмечено, очень разные. В первом случае оно было становящимся, мечущимся, оно было процессом нарастания одиночества, наполнено живыми описаниями и попытками анализа разрывов с дружеским кругом. Оно сопровождалось колебаниями и сожалениями.

Во втором случае это принудительное одиночество, окончательно свершившееся и застывшее, статичное (за исключением радостных пятого, отчасти шестого разделов). В воспоминаниях больше почти никаких «дорогих человеческих существ», это не столько накапливающаяся мука отчуждения от общества, это не процесс проживания жизни, но ее бесповоротный итог, омертвелый результат. Притом не он, Руссо, разрывает прежние связи, нет, это – его «все

оставили», это «люди принудили меня жить в одиночестве», «удаляя меня из своей среды». «Все кончено для меня на земле» (*Les Rêveries...* p. 38).

Итак, если «одиночество» поначалу имеет лишь положительный смысл верности своим пристрастиям, то впоследствии, сохраняя попутно этот смысл, становится знаком отверженности и жертвенности.

Нет ни малейшего мотива нелюбви Руссо вообще ко всем «другим» (навешанной на него «мизантропии»). Напротив, это тоска по тем, кто был ему когда-то по сердцу. А с простыми людьми Руссо по-прежнему чувствует себя непринужденно. Это чисто социальное чувство невольного одиночества на интеллектуальном и экзистенциальном уровне (помимо отворачивания к монархии и грандам).

Это ужас выброшенности из среды, которая ведь прежде была (или, по крайней мере, он желал бы видеть ее такой) и его средой, при условии неприкосновенности и уважения своих личных привычек и предпочтений. Если сознание Жан-Жака претерпело некий сдвиг, то учтем, по крайней мере, что впрямь он то и дело узнавал на старости лет о реальных преследованиях и нападках – от Вольтера до д'Аламбера или Юма. О степени изоляции Руссо можно было бы написать отдельную статью. Нападки действительно сыпались со всех сторон. Но хуже всего было обступившее его молчание.

«Освободившись от всех обольщений, от всех украшений, я снял шпагу, часы, белые чулки, золотое шитье, пышный парик, заменил его совсем простым, надел камзол грубого сукна...» (с. 588).

Руссо теперь резко выступает против «современных философов, несколько не похожих на древних ... против этих пламенных проповедников атеизма...» (с. 589). При этом он сознается: речь идет о «вопросах, до такой степени

превышающих человеческое понимание», что «не всегда удавалось мне устранять к своему удовлетворению все смущавшие меня трудности, которыми наши философы прожужжали мне уши» (с. 590–591). «Они не убедили меня, но причинили мне беспокойство».

Вот едва ли не центральное противоречие («беспокойство») в голове Руссо.

Что же это за «противоречия, которые я не мог ни устранить, ни предвидеть и которые время от времени снова возникали в моем уме»?

Это прежде всего вопрос о «соответствии ... между бессмертием души, устройством этого мира и естественными законами, в нем господствующими» (с. 592). То есть недоступной нашему разуму сверхестественной, магической вечной жизни души – и рационально постигаемой природы мирового устройства.

Комментарием (весьма парадоксальным) могут послужить слова прежнего Руссо в «Письмах с горы», удивительно современно звучащие поныне: «Изучение природы приводит каждый день к новым открытиям. Техника человека с каждым днем совершенствуется, любознательная химия нашла превращения, стремительные движения, разряды, взрывы, свечения, воспламенения, землетрясения и тысячу других чудес, способных заставить креститься тех, кто их видит» (часть 1, письмо 3, с. 694, в переводе Д.А. Горбова).

5 Не находя логического выхода, Руссо, если дозволено так выразиться, эгоистически сдается! То есть отказывается от своего рационализма ради личного спасения. «При всякой другой системе я буду жить без утешения и умру без надежды».

Современный атеистический индивидуализм – гораздо более суровый, рациональный и стоический. «Я» осу-

ществляется в единственной жизни, которую проживает человек. Осознание безнадежности смерти, после которой для Я не будет ничего, требует активности и мужества. Никаких утешений, никаких надежд, никакой мистической «жизни после смерти». Ничего реального на сей счет. А хорошо бы...

Или нет? Ведь личное бессмертие в духе Федорова еще страшней и безумней, и непостижимей. Жить как современник и Сократа, и Шекспира? Бред.

Тем значительней каждый наш день. Тем больше значительности в поисках «смысла жизни». Как кто-то невесело заметил, «в одиночестве тем больше смысла, что жизнь это и есть одиночество». Верующий человек полагается на смысл, дарованный извне, это и есть «вера». Остальным приходится искать его в собственных поступках, делах, самоидентификации.

Приходится жить осмысленно. Именно приходится. Такова причина набожности Жан-Жака – как и причина безбожности иных людей. Оба миропонимания залегают на одинаковой глубине. Это их сближает.

Только конечная обреченность взыскует у индивида пресловутой «духовности». Это простейший факт. Духовность принудительна, потому что мы смертны, и деятельная цельность, напряженная внутренняя жизнь, «поиски смысла жизни» – единственное, что мы в состоянии противопоставить этому. Духовность никем и ничем не даруется. Она сводится к безусловной сосредоточенности самосознания. К банальному отождествлению жизни с жизнью. И лучше бы меньше суесловить о ней, чем это заведено. Да еще с обязательным возведением очей к небу и набором стандартной церковной риторики. Это слишком серьезно и интимно, слишком решающе важно, чтобы болтать о «духовности», как, впрочем, и о «воинствующем» атеизме. Поменьше бы вообще воинственности.

Руссо ею не страдал и считал, что *об этом* не следует спорить. Это бессмысленно. Он, как известно, не менее чем

своей личной исключительно эмоциональной набожности был предан идеалу толерантности.

Приходится выращивать смысл в глубине себя, на собственный страх и риск. Каждый человек – Робинзон, только корабль за ним не придет. Хорошо еще, если рядом сыщется Пятница.

Опорой служат только жизнелюбие и культура. Жалеть себя бессмысленно, но необходимо жалеть других.

Руссо, напротив, был индивидуалистом верующим, притом честно сознавая, что для набожности нет рациональных оснований. Но он также знал бесценность открытого им «*moi-même*». Он даже предполагал, что эта бесценность будет сохранена будущим человечеством. Получалось, что именно свобода бесконечного «Я» требует для своего ограничения иной, надындивидуальной и непостижимой божественной свободы и бесконечности.

«Только, – как чудесно сказал русский поэт, – только этого мало...». Точку Жан-Жак не ставит, колеблясь между Богом и самодостаточным Я.

Для Руссо – именно в силу гигантского индивидуализма – тоже «этого мало». Мало незримого Бога и мало разумного одинокого Я. Между прочим, напоминая, он писал, что философы считают самым важным разум. А он, Руссо, – воображение и жизнь сердца. Нечто вроде «спора» между правым и левым полушариями.

Что ж, понять и пожалеть его, Руссо, нетрудно, не так ли?

Притом как раз особенно с позиции мыслящего безбожника...

«Они создают философию для других. *Мне нужна философия для себя*»²². Предсмертное иррациональное нарастание его набожности – очевидно. Оно сказалось, как справедливо подчеркивает Руссо, уже в «Исповедании веры савойского викария».

Перед приближением смерти это происходило и поныне происходит в умах множества людей, нуждающихся в неких душевных подпорках и утешении.

Вспомним предсмертное причащение автора «Гавриилиады». Это заслуживает, безбоязненно повторяю, именно с позиции задумчивого безбожника – глубокого культурного и экзистенциального понимания и сочувствия.

В конечном счете, на последнем пределе, только с природой сохраняется у Руссо осмысленная и безграничная, пропущенная сквозь себя связь.

Но не с современной социальной средой.

Сходство горестных риторических пассажей не в состоянии скрыть этой страшной разницы.

6 Что до помянутого несчастного и нелепого случая, то он состоял в том, что несшийся с горного склона большой датский дог сбил Жан-Жака с ног, тот сильно разбился, упав на лицо, и потерял сознание. Придя в себя, он испытал нечто вроде временной амнезии, не мог сперва сказать, кто он и где живет. Его доставили домой.

«Крики моей жены, когда она меня увидела, дали мне понять, что я изуродован более, чем думал». Боли Жан-Жак поначалу не ощущал.

Вдруг мы опять распознаем стиль и голос прежнего Руссо, когда он исчерпывающе и точно описывает свои телесные повреждения: «верхняя губа у меня была рассечена изнутри до носа; снаружи кожа лучше предохраняла ее и помешала полному разрыву; четыре верхних зуба расшатались; часть лица над верхней челюстью страшно вздулась и омертвела; большой палец правой руки оказался вывихнутым и очень распух, большой палец левой сильно поражен, левая рука вывихнута, левое колено страшно вспухло, и сильная, мучительная боль от ушиба не давала ему как

следует согнуться. Но при этом никаких переломов, даже зубы остались целы – счастье, близкое к чуду при таком падении» (с. 580–582).

Дальше – хуже. Но не в физическом отношении.

Жан-Жак был почему-то очень обеспокоен любезной и естественной настойчивостью секретаря незнакомого ему господина, по-видимому, хозяина дога, предлагавшего помощь после происшествия, и заподозрил тут какую-то «загадку».

Затем следует рассказ о родовой писательнице, грубо льстившей ему и набивавшейся в гости. Руссо вздумал заподозрить, что она желала скомпрометировать его, не зря настойчиво указывая на некий фрагмент в своем слабом романе. Она-де собиралась в будущем утверждать, что этот фрагмент принадлежит руке самого Руссо, и тем самым опорочить его сочинительскую репутацию. Ни доказательств, ни логичности здесь не заметно.

Затем, по впечатлениям Руссо при встречах с парижскими прохожими, оглядывавшимися на него, распространился слух о том, что Руссо в означенном несчастье погиб. Сообщение об этом даже, как «кто-то» передал Жан-Жаку, появилось в «Авиньонском курьере». Бог весть...

Наконец – он узнал о совсем уж странной новости. Все же узнал «случайно и не мог собрать никаких подробностей»... Якобы была объявлена подписка на посмертное издание его сочинений... Руссо вообразил, что уже готовится сборник каких-то писаний, дабы опять-таки посмертно приписать их ему и посрамить его репутацию (с. 580–584).

Тогда бедный Жан-Жак пришел к мысли, что такое нагромождение странностей уже невозможно приписывать человеческому сговору и злобе. За этим кроется никак не меньше, чем «воля Совершенного существа, которому я поклоняюсь. Бог справедлив, он хочет, чтоб я страдал, и делает так, чтоб я был невинен. Вот основание моего доверия; сердце мое и мой разум твердят мне, что оно меня не

обманет. Пусть же люди и судьба делают свое дело. Научимся страдать безропотно; все в конце концов должно стать на свое место, и – рано или поздно – придет и мой черед» (с. 584–585).

Руссо 66 лет. В «Прогулках» он подчас, пожалуй, не вполне адекватен. Но вовсе не в такой степени, как в созданных ранее «Диалогах» (см. ниже). Хуже того: изредка он бывает банален...

Только теперь – перед лицом подобных фактов – придется уступить на краткое время место, пусть и с прежними недоумениями, настойчивым взглядам профессора Ж. Старобински.

Впрочем, вслед за кончиной самородка из Женевы действительно придет черед подлинному Руссо.

7 А пока окинем беглым взглядом остальные «прогулки». В третьей из них, уже в основном рассмотренной выше, мы находим еще много трогательного, верного – и тривиального одновременно. К тривиальному, кстати говоря, стоило бы относиться несколько более серьезно, чем принято. Ведь чаще всего – это оскопленная истина.

Время ли учиться, как надо жить, когда пришла пора уже умирать? <...> Если старику и остается чему-нибудь учиться, то только учиться умирать, а это как раз то, чем меньше всего занимаются в моем возрасте: старики думают обо всем, кроме этого. Они цепляются за жизнь больше, чем дети, и покидают ее неохотней, чем молодежь. Это потому, что все их заботы были об этой жизни и под конец они видят, что весь их труд пропал даром. Все свои тревоги, все свое достояние, все плоды своего кропотливого труда – все покидают они, уходя. За всю свою жизнь они не подумали запастись чем-нибудь таким, что им можно было взять с

собой умирая ... Чувство это ... всегда заставляло меня стремиться к познанию своего существа и его предназначенья с большим увлечением и вниманием, чем мне приходилось наблюдать это в ком бы то ни было. Я видел много людей, философствовавших более учено, чем я, но философия эта была, так сказать, чужда им. Желая быть учение других, они изучали вселенную, как какую-нибудь машину: просто из любопытства. Они изучали человеческую природу, чтобы быть в состоянии толковать о ней как ученые... (с. 586–587).

Что верно, то верно. Но Жан-Жак противоречит себе в «Прогулках» чаще, чем когда-либо раньше. «Общая и отвлеченная истина – самая драгоценная из всех благ. Без нее человек – слеп, она – око разума ... Истина частная и индивидуальная – не всегда благо, иногда она – зло, очень часто – нечто безразличное» (с. 599). И это после того, как Руссо только что основывал «понимание для себя» лишь на том, что он верит в истинность своего личного понимания. Единственный, постоянно варьирующийся довод сводится к тому, что думать так, как он решил думать, несравненно легче именно для его сокрушенного сердца. Руссо уверяет, что давно-давно, еще в молодости, *заранее* решил полностью переменить свой образ жизни к сорокалетнему возрасту и предаться отшельничеству. Но текст «Исповеди» не согласуется с этой фантазией. Кроме того, получается, что до сорока лет его слабости и скверности были намеренными. Ежели Жан-Жак заранее знал, что они позже окажутся непозволительными?

8 «Пятая прогулка» целиком посвящена рассказам о тех кратких двух месяцах, которые Жан-Жак с Терезой в 1765 г. провели на уединенном, мало возделанном и почти неизвестном острове Сен-Пьер посреди Бьенского озера. Это самая прекрасная и умиротворенная часть «прогулок».

Когда-то Руссо уже очень обстоятельно и выразительно поведал о пребывании на этом острове – в последней книге «Исповеди» (с. 551–560). Он бежал сюда после того, как его дом забросали камнями и разгромили взвинченные духовенством жители Мотье. Это жуткое переживание описано им во всех деталях и было едва ли не переломным. И вот Жан-Жак почему-то вздумал мысленно вернуться на Сен-Пьер 15 лет спустя, во многом повторяя прелестные описания замечательно живописного, «дикого и романтического» острова и своего счастливейшего пребывания там.

Пересказывать эти страницы невозможно и незачем. Лучше перечитайте их. На мой вкус, перед нами едва ли не превосходнейшие образцы художественной прозы Руссо. Его свободная интонация (особенно, конечно, в оригинале) волнует и сегодня.

На острове стоял единственный, но просторный дом, где жил местный сборщик налогов «со своим семейством и прислугой». Руссо с Терезой у них столовались. Писатель очень тепло отзывается об этих людях. Дом, как и весь остров, принадлежал Берну. Неподалеку располагался еще один островок, вовсе безлюдный и заросший. Жан-Жаку тогда – после ужаса, пережитого в Матье и наложившего, повторяю, отпечаток на все последующее состояние Руссо – впервые не хотелось работать. Ящики с книгами, рукописями и даже чернильницей так и остались, к его удовольствию, не распакованными. Он – кажется, впервые в жизни? – наслаждался только покоем и тишиной, уютом и сладостным бездельем, словом, тем, что итальянцы называют *dolce far niente*. Однако же...

Праздность, любимая мною, – не праздность лентяя, который остается неподвижным, скрестив руки на груди в полном бездействии, и размышляет не больше, чем он действует. Нет, это одновременно праздность ребенка, находящегося в постоянном движении, хотя ничего не делающего, и праздность пустомели, несущего всякий вздор, в то

время, как руки его отдыхают. Я люблю заниматься пустяками, браться за сто дел и ни одного не кончить, идти куда глаза глядят, ежеминутно изменяя направление, следить за полетом мухи, стараться передвинуть каменную глыбу, чтобы посмотреть, что под ней; горячо приняться за работу, требующую десятилетнего труда, и через десять минут без сожаления бросить ее; наконец – целый день бездельничать и во всем следовать лишь минутному капризу. Ботаника, в том виде, как я всегда понимал ее и в каком постепенно она становилась моей страстью, была как раз тем праздным занятием, которое способно было заполнить всю пустоту моих досугов, не оставляя места ни для бреда воображения, ни для скуки полного безделья» (с. 555).

А ведь ранее он утверждал, что вынужденный материальный интерес к растениям никогда не был у него духовной потребностью. Не требуйте, чтобы живой человек избегал противоречий. Тогда он не живой. Тогда его мышление сплющено в лепешку.

Затем следуют прелюбопытные замечания о разнообразии растений, о преимуществах и недостатках системы Линнея, и пр. Что же во всем этом невротического? «Я всегда страстно любил воду, и вид ее вызывал у меня сладкую, хотя нередко и беспредметную, мечтательность. Каждый день, встав с постели, я бежал на террасу, если погода была хорошая, подышать свежим и здоровым утренним воздухом и окинуть взглядом простор этого прекрасного озера, чьи берега и обступившие его горы восхищали меня. *Я не знаю другого, более достойного способа почтить божество, чем этот немой восторг, возбуждаемый созерцанием его творений и не поддающийся выражению при помощи определенных действий*» (с. 556). Это к вопросу о «мазохистском» безбожии Руссо... Он блуждал по озеру на лодке, которой управлял одним веслом, часто отдаваясь на волю ветра и воды. Он ложился навзничь на дно лодки и глядел в небо. Единст-

венным событием за краткое время пребывания там было заселение изолированного и диковатого соседнего островка кроликами – по предложению Жан-Жака.

Мне позволили провести на этом острове только два месяца, но я провел бы там два года, два столетия, целую вечность, ни на минуту не соскучившись, несмотря на то, что у меня не было там другого общества, кроме сборщика податей, его жены и домашних, – по правде говоря, только очень добрых людей – и ничего больше; но это было как раз то, в чем я нуждался.

Рассказы о жизни на Сент-Пьер тоже, разумеется, сентименталистское художество. Однако это одновременно и вполне реальные, подлинные, пусть недолгие переживания, охватившие Руссо в соответствии с прирожденным характером и тогдашним состоянием ума. Они дышат здоровьем и покоем.

После ужина, если вечер был хорош, я шел еще раз со всеми вместе немного погулять на террасе, подышать там свежим воздухом и прохладой озера. Мы отдыхали в павильоне, смеялись, болтали, пели какую-нибудь старинную песню, которая, право, стоила современных вывертов, и, наконец, шли спать, довольные проведенным днем и не желая ничего, кроме такого же на завтра» (с. 616).

У меня, признаться, мелькала мысль сделать этот раздел заключительным в книге. Закончить раздумья о страстях, страдания и противоречиях Руссо на тихой и успокоительной ноте. Это сентиментальное – в духе самого Руссо – намерение нельзя было осуществить по ряду композиционных и содержательных соображений. Прежде всего, это не было бы правдивым. Замечу только под конец раздела, что уступки – по некоторым отдельным эпизодам

медицинским оценкам этого сочинения Руссо – оказываются поспешными. И, в свой черед, нуждаются в существенных оговорках. Но почему счастье продолжалось только два месяца? Из-за внезапного предписания бернского байи (правителя) немедленно покинуть Сен-Пьер. Руссо, не зная, куда бежать, да еще с поклажей и без кареты, пишет, как уже говорилось, 2 октября 1765 г. Граффенриду, передавшему приказ бернских властей, с очень продуманной просьбой о тюремном заключении в Берне, где бы он был в безопасном одиночестве (*Lettres...* р. 221–223). В ответ последовал повторный приказ о высылке.

9 Шестая прогулка открывается небольшим эпизодом. Во время обычных странствий в окрестностях Парижа в поисках редких растений, как делал уже не раз, «свернув в поле по дороге на Фонтенбло», Руссо увидел на бульваре женщину, продававшую с лотка фрукты. Рядом с ней опять был маленький мальчик на костылях, «который как-то очень приветливо просил милостыню у прохожих». Руссо свел знакомство и очень расположился к мальчугану, неизменно давая ему «маленькую лепту».

А тот не упускал случая несколько раз назвать его «господин Руссо». Но затем повторяющийся ритуал наскучил Жан-Жаку, и он стал обходить этот уголок.

После чего до конца шестой «Прогулки» следует длинное и тонкое раздумье о том, в чем состоит парадокс благотворительности и что такое личная свобода для него, Руссо, в отличие от многих других. Руссо критически пересматривает некоторые прежние самооценки, усложняя их и делая более снисходительными к тем, кто смотрит на вещи иначе. Он пишет, что желает счастья всем людям, столь разным.

Вся Седьмая прогулка – смесь более или менее уже знакомых нам отвлеченных, хотя и живо выписанных само-

рефлексивных наблюдений, а также симпатичных соображений о преимуществах занятий ботаникой, ставшей главной услугой его последних лет. «Вот цепь дополнительных мыслей, привязывающих меня к ботанике. Она объединяет и воскрешает в моем воображении наиболее ему приятные образы и воспоминания, благодаря ей память непрестанно рисует мне луга, воды, леса, одиночество, в особенности мир и покой, который я всегда находил среди всего этого», и т. д. (с. 640).

Вся Восьмая прогулка – еще одна попытка поразмыслить над психическими, социальными, коммуникативными и нравственными предпосылками разных наших душевных состояний. Также вне какого-либо конкретного автобиографического материала, который только подразумевается.

10 Девятая прогулка – опять иного характера. Мы находим в ней несколько сюжетных, хотя и случайных и малозначительных, эпизодов. Все они подобны друг другу, все замедленно повествуют о встречах с малышами, о любовании ими, о щедрой и веселой раздаче им пряников или яблок, и т. п. Созерцание детей, мимолетные прикосновения к ним, их приветливость производят на Руссо неизменно сильное впечатление.

А едва почувствовав, что «дряхлый вид» старца тяготит их, он отказывается от «удовольствия общения с ними, чтобы не надоедать им». «Дети не любят старости». Далее другие по фабуле, но не по сути, рассказы о наблюдениях за веселящейся простонародной толпой во Франции и в Швейцарии. «Я когда-то довольно часто ходил в кабачки смотреть, как танцует там простой народ». Но во Франции люди держались притом как-то уныло и неловко, только в Швейцарии веселились непринужденно и по-братски, и словесные различия были заметно сглажены. «*Чужая радость для меня – бескорыстное удовольствие*». После воспроизведе-

дения испытанных впечатлений – судя по всему доподлинных – мимолетный мажор возвращается к устойчивому минору. Кстати, текучая проза Руссо почти всегда музыкальна, полна модуляций и просится на нотный стан.

Когда самый младший из детей отходил от Жан-Жака, «я жалел об этом так, словно он был мой»... Как несложно предугадать, тема соприкосновений с детьми и детством введена писателем неспроста. За несколько месяцев до смерти в 66-летнем возрасте, он мучительно и настойчиво возвращается к мыслям о собственных детях, отданных некогда в приют для подкидышей. Его уязвил памфлет по этому поводу доктора Троншена, друга Вольтера.

«Я понимал, как легко бросить мне упрек ... и нетрудно при некотором старании изобразить меня отцом-извергом, ненавидящим детей».

Он до смертного часа продолжает объясняться с самим собой. Уже в Первой книге «Эмиля», целиком пронизанной любовью к малышам, мы находим горькое и трезвое признание. Он сам, Руссо, не способен стать хорошим воспитателем на деле. Но может «обратиться к перу», чтобы рассказать, что это значит (р. 23–24)...

«Эмиль» – замечательно умная, пронизательная книга. Великая и блестящая книга. И она написана в 1762 г. словно в виде какой-то психологической компенсации после истории с собственными новорожденными. Придется нам опять принять эту ужасную историю просто к сведению, больше к ней не возвращаясь.

11 Последняя, десятая, глава (не законченная из-за внезапной, почти символической кончины через несколько месяцев от инсульта или инфаркта (посреди *прогулки*)) начата, когда «исполнилось ровно пятьдесят лет с того дня, когда я впервые встретился с г-жой де Варанс. Ей было тогда двадцать

семь лет ... мне еще не было семнадцати...». Луиза в момент, когда Руссо вспоминает о своей первой любви, давно скончалась, обезображенная старостью, одинокая и нищая. Жан-Жак иногда писал ей и пытался помочь, что было при ее безалаберности и на расстоянии все равно бесполезно и невозможно. Он утверждает, что ни дня не забывал о ней. Как обычно, риторику Руссо не следует воспринимать совершенно буквально, но образ Варанс действительно жил в нем до конца, ибо воплощал лучшую пору формирования личности Жан-Жака. «Не проходит и дня, чтоб я не вспоминал с восторгом и умилением это короткое и неповторимое время моей жизни, когда я во всем был самим собой, без примеси и без помех (*je fu moi pleinement sans mélange et sans obstacle*), я был самим собой, беспрепятственно делал то, что хотел делать, я был таким, каким желал быть ... я не мог бы страдать беспричинно (Руссо не знал термина «депрессия». — Л. Б.), я был совершенно свободен и даже лучше, чем свободен, потому что подчинялся своим привязанностям, я делал только то, что хотел делать» (с. 662–663, р. 164).

Повтор (теперь не у меня, а у моего Жан-Жака) показывает важность этой мысли для Руссо, а также то, что Жан-Жак не нашел времени, чтобы отделать последний абзац, он, может быть, торопился на обязательную ежедневную и последнюю прогулку.

Судя по месту, которое Варанс занимает в «Исповеди» и по этой самой-самой последней страничке «одинокого мечтателя», написанной Руссо и целиком отданной ей, — все это интимная и суцкая правда.

Так закругляется жизнь.

12 «Прогулки» написаны очень неровно. Я отмечал это, но теперь хотел бы высказаться подробнее. «Одиночество» раздваивается на два сталкивающихся смысловых измерения.

С одной стороны, это природный склад души, внутренняя потребность и радостная привычка Руссо, человека, который, если не ошибаюсь, едва ли не первый сформулировал столь модную ныне проблему «Я и другие» и поставил ее в центр своего мироощущения, первым же испытал на себе всю тяжесть этой экзистенциальной проблемы. Ибо, с другой стороны, «одиночество» – это навязанное нашим бытием извне, то есть просто нашей отдельностью, принудительное и жертвенное положение.

Все начинается с вещей совершенно повседневных и будничных, всего только с внешности, манеры одеваться и вести разговоры, вкусов, – в целом, со стиля поведения Руссо. Все это имеет выразительную социальную подкладку и, чем дальше, тем явственней выдает в нем человека другого происхождения, статуса и жизненного опыта, других этических установок и прежде всего тяги к самоутверждению «Я».

Его склонность к простым обыкновениям, его любовь к тихому и насыщенному эстетическими радостями или наблюдениями и мысленной активностью уединению, – все больше в глазах окружающих (да и многих потомков) походит на «странность», гордыню и вызывающую блажь.

В то, каким образом он пытается наладить свое личное существование, даже добрые друзья считают возможным вмешиваться – конечно, к его же благу – поучать его и пробовать влиять через «домоправительниц». В ответ Руссо, не терпящий никакой опеки и навязывания не свойственной ему манеры поведения, становится все более подозрительным, запальчивым и нервным.

Он начинает сторониться просвещенной среды, которая была ему давно уже вполне по росту, была ему необходима и привычна, ибо только в ней он мог найти собеседников.

Хотя подчиниться ее обыкновениям и раствориться в ней он был не в силах.

Он, собственно, желал бы совместить и дружбу, и споры с «философами», и связь с образованными и приветливыми родовитыми домами, оставаясь притом самим по себе, существуя несколько наособицу, будучи «другим»²³.

Но этого не получалось по нараставшей совокупности мелких и общих причин. Задетый (подчас, может быть, несколько преувеличенно, особенно по отношению к любимому Дидро), он шел и шел на разрывы. По мере этого его социальная и психическая изоляция все более нарастала. Вольтер назвал его «сумасшедшим», став тем самым первым «интерпретатором» его личности. Юм тоже публично жаловался на его несносность. Я упоминал, что в 1765 году, когда ему вдруг велено было в двадцать четыре часа убраться с острова Сан-Пьер, и в целом из швейцарских земель, дело дошло до того, что он отправил правительству Берна письмо с просьбой заключить его в тюрьму, где он находился бы в безопасности и благом одиночестве. Он объяснял, что его просьба не вызвана отчаянием, он спокойно все обдумал, у него просто больше нет сил на постоянные переезды. Да и ехать некуда. И не на чем. И пришли холода, а он болен.

Он просил лишь, чтобы ему разрешили в тюрьме гулять по тамошнему саду. Он не хотел бы, чтобы его предложение нашли слишком странным, он был бы рад этому выходу из положения (Lettres... p. 221–223).

13 А перед концом Жан-Жак отправляет Терезе – «Мое дорогое дитя...» – письмо о том, что его судьба обременяет ее жизнь, что поэтому им нужно расстаться, ведь и она, наверное, хочет того же. Разве что она все еще привязана к нему? (Lettres... p. 253–256).

Что бы ни думать о состоянии его психики, с навязчивой идеей общего заговора против него – ему действительно было до жути плохо. И он бесконечно трогателен. Орга-

низованного сговора, разумеется, не было и не могло быть (между всеми просветителями и властями!). Но как Жан-Жак объяснить себе, почему все остракизмы *совпали*?

Наложились друг на друга.

И ситуация переворачивается.

Теперь уже не Руссо – якобы эгоцентрически и свысока – отвергал всех «других». Но, напротив, некогда милые сердцу «другие» дружно отказали старому и больному Руссо в понимании, терпимости и элементарной участливости.

Когда друзья Вольтера решили поставить ему памятник при жизни, Руссо, узнав об этом, просит принять и его денежный вклад. Как? В память Вольтера? Но вот таким благородным человеком он был. Это было тут же отвергнуто.

Похоже, «паранойя» поразила не только его, но и всех, кого он знал и когда-то любил. А по другим причинам его преследовали власти.

Между прочим. В «Эмиле», в связи с раздумьем о причинах неудачных браков при социальном неравенстве супругов, Руссо роняет замечание, еще раз подтверждающее, в какой мере ясно он сознавал причину, по которой «другие» его не понимали.

«Беда в том, что в цивилизованном обществе, хотя и создаются более индивидуальные характеры, но вместе с тем возникают и сословные разграничения, и поскольку развитие человеческой личности (в оригинале, конечно, не «личности», а «индивида». – Л. Б.) не зависит от происхождения, то чем глубже становятся сословные различия, тем разнообразней характеры во всех общественных слоях. Отсюда – неравные, неудачные браки (и дружбы, добавлю я – Л. Б.) и все вытекающие из них неурядицы» (р. 613).

Так и судьба Руссо в его «браке» с Просвещением превратилась в трагическую «неурядицу».